

Д. С. Мережковский

**Полное собрание
сочинений**

Том 17-18

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
М52

М52 **Мережковский Д.С.**
Полное собрание сочинений: Том 17-18 / Д. С. Мережковский – М.: Книга
по Требованию, 2021. – 524 с.

ISBN 978-5-517-98352-7

ISBN 978-5-517-98352-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Предлагаемое изданіе состоитъ изъ ряда критическихъ очерковъ. Цѣль автора заключается не въ томъ, чтобы дать болѣе или менѣе объективную, полную картину какой-либо стороны, теченія, момента во всемірной литературѣ; цѣль его—откровенно *субъективная*. Прежде всего желалъ бы онъ показать за книгой живую душу писателя—своеобразную, единственную, никогда болѣе неповторяющуюся форму бытія; затѣмъ изобразить дѣйствіе этой души—иногда отдѣленной отъ насъ вѣками и народами, но болѣе близкой, чѣмъ тѣ, среди кого мы живемъ,—на умъ, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь критика, какъ представителя извѣстнаго поколѣнія. Именно въ томъ и заключается величіе великихъ, что время ихъ не уничтожаетъ, а обновляетъ: каждый новый вѣкъ даетъ имъ какъ бы новое тѣло, новую душу, по образу и подобию своему.

Несомнѣнно, что Эсхиль, Данте, Гомеръ для XVI вѣка были не тѣмъ, чѣмъ сдѣлались для XVIII, еще менѣе тѣмъ, чѣмъ стали для конца XIX, и мы не можемъ представить себѣ, чѣмъ они будутъ для XX,—только знаемъ, что великіе писатели прошлаго и настоящаго для грядущихъ поколѣній будутъ уже не такими, какими наши глаза ихъ видятъ, наши сердца ихъ любятъ.

Они живутъ, идутъ за нами, какъ будто провожаютъ насъ къ таинственной цѣли; они продолжаютъ любить и страдать въ нашихъ сердцахъ, какъ часть нашей собственной души, вѣчно измѣняясь, вѣчно сохраняя кровную связь съ человѣческимъ духомъ. Для каждаго народа они—родные, для каждаго времени—современники, и даже болѣе—предвѣстники будущаго.

Вотъ почему, кромѣ научной критики, у которой есть предѣлы, такъ какъ всякій предметъ изслѣдованія можетъ быть исчерпанъ до конца,—кромѣ объективной художественной критики, которая также ограничена, ибо разъ навсегда можетъ дать писателю вѣрную оцѣнку и болѣе не нуждаться въ повтореніяхъ,—есть критика *субъективная*, психологическая, неисчерпаемая, безпредѣльная по существу своему, какъ сама жизнь, ибо каждый вѣкъ, каждое поколѣніе требуетъ объясненія великихъ писателей прошлаго въ *своемъ свѣтѣ*, въ *своемъ духѣ*, подъ *своимъ* угломъ зрѣнія.

Въ этомъ изданіи собранъ рядъ небольшихъ очерковъ (проявившихся въ печати отъ 1888 до 1896 г.)—какъ бы галлея миниатюрныхъ портретовъ великихъ писателей разныхъ вѣковъ и народовъ—для русской публики въ значительной мѣрѣ *великиаъ незнакомцевъ*, ибо, кромѣ ихъ имени, русскій читатель до сихъ поръ знаетъ о нихъ развѣ по отрывкамъ неудовлетворительныхъ переводовъ или по безличнымъ выдержкамъ изъ курсовъ литературы справочныхъ книгъ.

За это соединеніе столь различныхъ, повидимому, чуждыхъ другъ другу, именъ въ одну семью, въ одну галлею портретовъ, могутъ упрекнуть автора въ отсутствіи систематической связи. Но онъ питаетъ надежду, что читателю мало-по-малу откроется не внѣшняя, а субъективная, внутренняя связь въ самомъ я, міросозерцаніи критика, ибо—повторяю—онъ не задается цѣлями научной или художественной характеристики. Онъ желалъ бы только рассказать со всей доступной ему искренностью, какъ дѣйствовали на его умъ, сердце и волю любимыя книги, вѣрные друзья, тихіе спутники жизни.

Это—записки, дневникъ читателя въ концѣ XIX вѣка.

Субъективный критикъ долженъ считать свою задачу исполненной, если ему удастся найти неожиданное въ знакомомъ, свое въ чужомъ, новое въ старомъ.

Д. Мерещковскій.

Ноябрь 1896.

А к р о п о л ь .

Мнѣ давно хотѣлось побывать въ Аѳинахъ. Это была моя мечта въ продолженіе многихъ лѣтъ.

Я проѣхалъ черезъ Южную Францію въ Сѣверную Италію. Недѣли три прожилъ во Флоренціи. Удивительный городъ. Благодаря солнечному свѣту, чистому и нѣжному, благодаря воздуху, мягкому и прозрачному, о какомъ мы въ Петербургѣ и понятія не имѣемъ, все тамъ кажется прекраснымъ, каждый предметъ, даже самый прозаическій, скульптурнымъ. Краски—не столь яркія, какъ, напримѣръ, въ Неаполѣ или Венеціи, скорѣе тусклыя и однообразныя, но зато очертанія далекихъ холмовъ, деревьевъ на горизонтѣ, средневѣковыхъ зданій,—каждая форма, каждая выпуклость точно изъ особеннаго драгоцѣннаго вещества. Живешь въ этомъ солнечномъ свѣтѣ, въ этомъ воздухѣ, какъ въ непрерывномъ снѣ.

По этому берегу мутнаго Арно ходилъ Данте Аллигieri и обдумывалъ «Божественную комедію». Отъ каждаго стиха мрачной поэмы вѣетъ флорентійскимъ воздухомъ, на страшныхъ описаніяхъ «Ада» виденъ какъ будто слабый отблескъ этого нѣжнаго солнца. Вотъ на склонѣ горы, среди кипарисовъ, вилла Пальмери, гдѣ происходило знаменитое собраніе дамъ и кавалеровъ, рассказывавшихъ другъ другу сказки во время флорентійской чумы, какъ о томъ передаетъ веселый Боккаччо въ «Декамеронѣ». Вотъ холмъ, гдѣ нѣкогда была обсерваторія Галилея. Вотъ домъ Микель Анжело Буонаротти. Я вхожу въ него, вижу его рисунки, модели и рукописи. Вотъ народная площадь; соборъ Marie del

Fiore; «райскія» двери крестильницы, вылитыя изъ бронзы великимъ Гиберти; Венера Медичейская... Это сдѣлалъ на маленькомъ клочкѣ земли маленькій народъ. Что это были за люди—какъ они жили, какъ были не похожи на насъ, сильные и свободные!

Дворецъ Питти, въ которомъ собраны самыя пѣжныя, воздушныя созданія кисти Рафаэля, Бартоломео, Тиціана, Мурильо, Джіорджіоне, весь построенъ изъ огромныхъ кусковъ дикаго камня, даже неотесаннаго. Эти люди такъ любили все простое, прямо вышедшее изъ рукъ природы, что боялись исказить первобытную красоту камня, обтесывая и сглаживая неровности. Глыбы нагромождены на глыбы, въ основаніи дворца, точно скалы; столь царственнаго зданія больше нѣтъ нигдѣ на землѣ. Кое-гдѣ, среди сѣраго, грубаго камня, львиныя головы съ открытою пастью, изъ которой бьетъ вода въ мраморныя бассейны... Зодчій презираетъ все, что искусственно и вычурно. Да, нужно быть такимъ простымъ, такимъ первобытно-искреннимъ, чтобы быть великимъ. Чувствуется, что этотъ дворецъ выстроилъ себѣ не мелкій тиранъ, а сильный человекъ, вышедшій изъ лона великаго народа. И во всемъ—духъ народа. Тутъ понимаешь, что значитъ не любить *своего* народа, какое безуміе надѣяться что-нибудь создать внѣ его и безъ него.

Таланты, какъ Гирландайо или Вероккіо—художники, подготовившіе расцвѣтъ флорентійской живописи,—могли возникнуть и въ другой странѣ и въ другую эпоху. Но нигдѣ въ мірѣ они не имѣли бы того значенія, какъ именно на этомъ маленькомъ клочкѣ земли, у подошвы Санъ-Миньято, на берегахъ мутно-зеленаго Арно. Только здѣсь у Гирландайо могъ явиться такой ученикъ, какъ Буонаротти, у Вероккіо—Леонардо-да-Винчи. Нужна была атмосфера флорентійскихъ мастерскихъ, воздухъ, насыщенный запахомъ красокъ и мраморной пыли, для того, чтобы распустились рѣдкіе цвѣты человѣческаго гения. Какъ будто мрачный и пламенный духъ неукротимаго народа долго томился въ своей нѣмотѣ, искалъ воплощенія и не могъ

пайти. Онъ едва брежжитъ, какъ блѣдная полоска въ утреннихъ тучахъ,—въ большихъ глазахъ еще иконописныхъ, полувизантійскихъ мадоннъ Чимбуэ, онъ проясняется въ реализмѣ Джіотто, сіяетъ уже яркимъ свѣтомъ у Гирландайо, у Вероккіо, на время отклоняется въ религіозной живописи Фра Анжелико, чтобы вдругъ, наконецъ, какъ молнія, все озарить—въ Микель-Анжело и Леонардо-да-Винчи. Какое торжество для народа! Отнынѣ флорентійскій духъ нашель себѣ полное выраженіе, неистребимую форму. Вокругъ могутъ происходить всевозможные перевороты, все можетъ рушиться: Флоренція Возрожденія сама себя нашла, она бессмертна, какъ Аѳины Перикла, какъ Римъ Августа. Я узнаю рѣзецъ Донателло въ отчеканенныхъ, металлически звучащихъ терцинахъ Аллигieri. На всемъ печать свободного флорентійскаго духа. Онъ чувствуется въ самыхъ ничтожныхъ подробностяхъ архитектуры: въ прекрасныхъ чугунныхъ грифонахъ, которые вбиты въ камень на уличныхъ перекресткахъ по угламъ палаццо, чтобы поддерживать факелы ночью. Такъ въ двестишести греческой эпиграммы я узнаю духъ Гомера, въ обломкѣ мрамора наполовину скрытомъ мхомъ и землею,—стиль іонической колонны. На всѣхъ созданіяхъ истинно-великихъ культуръ, какъ на монетахъ, отчеканенъ ликъ одного властелина. Этотъ властелинъ—геній народа.

Чѣмъ больше я всматривался въ созданія Renaissance'a тѣмъ болѣе чувствовалъ, что невозможно проникнуть въ духъ новаго человѣка, не побывавъ въ Греціи, не увидѣвъ собственными глазами воплощеніе древняго эллинскаго духа. Онъ лежитъ какъ глубочайшая, иногда бессознательная, основа во всемъ, что творятъ истинно-прекраснаго и вѣчнаго художники новыхъ временъ. Есть греческое спокойствіе и совершенная чистота линій въ мадоннахъ Рафаэля, который считалъ грековъ своими учителями. Въ библіотекѣ Лаврентія Медичи я встрѣтилъ, рядомъ съ древними рукописями Данте и Петрарки, «Энеиду» Виргилія на пергаментѣ VI вѣка. Не даромъ божественный Виргилій—спутникъ Данте въ Аду среднихъ

вѣковъ. Когда я смотрѣлъ на бронзовыя двери крестильницы и любовался воздушными, чисто эллинскими складками туникъ древне-библейскихъ женщинъ въ сценахъ изъ «Пятикнижія» Моисея, мнѣ вспоминалось невольно то, что я видѣлъ раньше въ помпейскихъ картинахъ. Въ бронзѣ Гиберти—та же древняя грація, полнота жизни и спокойствіе, какъ въ обнаженномъ тѣлѣ юноши Давида у Микель-Анжело, въ его Ледѣ и Вакхѣ. И тотъ же отблескъ эллинской музы въ терцинахъ Данте. Всюду во Флоренціи неотступное воспоминаніе о ней. Что же люди создали тамъ, на клочкѣ каменистой, бесплодной аттической земли? Почему народы черезъ двадцать вѣковъ послѣ торжества христіанской проповѣди, уничтожившей Олимпъ, не могутъ забыть о вѣкѣ Перикла? Что тамъ было? Я понималъ, что никакими книгами, никакими словами нельзя передать эллинскаго духа. Должно-быть, то же чувство, непреодолимое и священное, влекло средневѣковыхъ пилигримовъ въ Іерусалимъ, которое теперь влечетъ меня въ Акрополь...

Несмотря на всѣ мои ожиданія, и, можетъ-быть, именно благодаря имъ, Адриатическое море на меня не произвело особеннаго впечатлѣнія—море какъ море.

Такъ бываетъ почти всегда: когда приближаешься къ тому, чего слишкомъ долго и сильно желалъ, сердцемъ овладѣваетъ непонятная грусть и разочарованіе. И я смутно начиналъ бояться, что Аѳины не дадутъ мнѣ того, чего я ожидалъ.

Впечатлѣніе отъ моря несравнимо ни съ чѣмъ и всегда ново. Нельзя налюбоваться измѣнчивостью и постоянствомъ «свободной стихіи». Каждое мгновеніе она принимаетъ новые оттѣнки, у нея нѣтъ мертвенной неподвижности горъ: она живетъ. И, вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ перваго дня творенія и до послѣдняго, море остается такимъ, какъ было—оно неизмѣнно.

Въ природѣ нѣтъ ничего величественнѣе простой черты горизонта тамъ, гдѣ вода сливается съ небомъ. Всѣ другія, болѣе сложныя линіи и очертанія на землѣ, какъ бы

они ни были прекрасны, кажутся ничтожными передъ этимъ величайшимъ, доступнымъ для людей, символомъ безконечности.

Но въ этотъ разъ — не знаю почему — сердце мое оставалось холоднымъ. Я искалъ прежнихъ впечатлѣній отъ моря и не находилъ. Мнѣ казалось, что я ѣду по какой-то гигантской географической картѣ. Кое-гдѣ мелькали, выплывая изъ моря и потомъ опять погружаясь въ него, воздушно-голубые острова Архипелага.

Я загаллъ въ душѣ моей сомнѣнія относительно Греціи.

Съ этимъ сомнѣніемъ переправился я съ парохода въ маленькій городокъ Корфу. Въ первый разъ въ жизни я ступилъ на эллинскую землю. Меня встрѣтили довольно противныя лица туземцевъ, пыль, вонь и жара. Пошли непонятные драхмы, лепты и оболы вмѣсто понятныхъ и благородныхъ франковъ. Я сразу почувствовалъ, что изъ Европы попалъ въ Азію, но не въ настоящую дикую Азію а въ полукультурную, т.-е. самую неинтересную. Черномазые греки напоминали мнѣ петербургскихъ продавцовъ губокъ въ Гостиномъ дворѣ. Солнце палило несносно. Я чихалъ и кашлялъ отъ бѣлой, знойной пыли и былъ радъ, когда опять выѣхалъ въ открытое море, и вольный вѣтеръ освѣжилъ мое лицо. Говорили, что въ Аѣинахъ будетъ еще жарче. Я смотрѣлъ уже съ глубокимъ равнодушіемъ на берега Эллады. Промелькнулъ очаровательный островъ Зантъ. Теперь, глядя на сѣрое небо Петербурга, я съ нѣжностью и печалью повторяю это имя...

Мы приближались къ обрывистымъ скаламъ Морей, гдѣ была Спарта, древній Лакедемонъ. Обогнули знаменитый, страшный древнимъ мореплавателямъ, мысъ Матапанъ—самую южную точку Европы.

«Завтра я увижу Аѣины», сказалъ я себѣ, ложась на койку, и заснулъ съ безмятежнымъ равнодушіемъ.

Рано утромъ, выйдя на палубу, я увидѣлъ амфитеатръ спускавшихся къ морю горъ и холмовъ, съ легкими очертаніями. Это были берега Аттики.

Я посмотрѣлъ въ бинокль на выходявшій какъ будто изъ самаго моря остроконечный холмикъ. На его вершинѣ что-то неясно мелькало.

Стоявшій рядомъ со мною австріецъ произнесъ: «Акрополь».

Сердце мое пробудилось въ первый разъ послѣ отъѣзда. Но я тотчасъ же побѣдилъ волненіе. Мнѣ почему-то нравилось мое равнодушіе.

Соленая влага пѣнилась и шумѣла. Мы вѣзжали въ огромный заливъ; въ туманѣ подымались обрывистыя горы Коринѳскаго перешейка. Вотъ Саламинъ, вотъ мысъ Сипіумъ, гдѣ до сихъ поръ сохранились дивныя колонны храма Паллады.

Мнѣ иногда казалось, что все это я вижу во снѣ.

Къ десяти часамъ утра мы вѣхали въ Пирей. Помню, еще мальчикомъ, я повторялъ съ восторгомъ стихи А. Н. Майкова:

...Бѣги со мною!..

...Уйдемъ скорѣй!..

Возьмемъ корабль! летимъ стрѣлою

Къ Аоинамъ, въ *мраморный Пирей*:

Тамъ все иное—люди, нравы!

Тамъ покрываль на женахъ нѣтъ!

Мужкамъ поютъ тамъ гимны славы.

Тамъ воля, игры, жизнь и свѣтъ!..

И мы вѣхали въ Пирей. Самая прозаическая торговая гавань. Уродливыя желѣзные броненосцы, закоптѣлыя отъ каменноугольнаго чада торговые пароходы, конторы, бюро, агентства, громадныя сараи. Ни кустика, ни травки, ни садика на выжженныхъ, печальныхъ холмахъ. Изъ фабричныхъ трубъ валить черными клубами дымъ, уносясь въ блѣдно-голубое аттическое небо. Визжать блоки, грохочуть цѣпи и машины. Вотъ онъ—«мраморный Пирей»!

Я нанялъ лодку и отправился на берегъ. Утреннее солнце жгло безпощадно. Что будетъ въ Аоинахъ? Ступивъ на пыльную набережную, я почувствовалъ отчаяніе.

Никогда въ жизни я не испытывалъ такой жары. Казалось, что огромная тяжесть навалилась на голову и плечи. Въ ушахъ шумѣло, и ноги подгибались. Для насъ, сѣверныхъ людей, въ такомъ солнцѣ есть что-то лютое, почти страшное. Я понялъ здѣсь, что у Гелиоса-Аполлона стрѣлы могутъ быть смертоносными.

Въ душномъ вагонѣ желѣзной дороги, соединяющей Пирей съ Афинами, казалось не то что прохладнѣе, а возможнѣе дышать.

Наконецъ я вышелъ на грязный, зловонный вокзалъ въ Афинахъ.

Насъ окружили безчисленные гиды, отъ которыхъ невыносимо пахло чеснокомъ. Мы кое-какъ отъ нихъ отдѣлались. Я не взялъ ни одного, чѣмъ привелъ въ негодование всѣхъ.

Мы влѣзли въ огромную, дребезжащую колымагу, въ родѣ кареты, запряженную отвратительными клячами. Въ это время года (въ концѣ мая) въ открытыхъ экипажахъ здѣсь нельзя ѣздить безъ нѣкоторой опасности солнечнаго удара.

Кажется, если бы я увидѣлъ теперь не только Акрополь, но собраніе олимпійскихъ боговъ, я бы остался безчувственнымъ и развѣ попросилъ бы бога-тучегонителя затмить это солнце.

Послѣ долгихъ криковъ, понуканій, хлопанья бича, мы, наконецъ, взобрались на холмъ по крутой, обрывистой дорогѣ. Колымага остановилась. Кучеръ отворилъ дверцы, и мы вышли.

Я взглянулъ, увидѣлъ все сразу и сразу понялъ— скалы Акрополя, Парѣнонь, Пропилеи, и почувствовалъ то, чего не забуду до самой смерти.

Въ душу хлынула радость того великаго освобожденія отъ жизни, которое даетъ красота. Смѣшной заботы о деньгахъ, невыносимой жары, утомленія отъ путешествія, современнаго, пошленькаго скептицизма—всего этого какъ не бывало. И — растерянный, полубезумный—я повторялъ: «Господи, да что же это такое».

Вокругъ не было ни души. Сторожъ открылъ ворота.

Я чувствовалъ себя молодымъ, бодрымъ, сильнымъ, какъ никогда. Подъ отвѣсными лучами солнца надо было подниматься по раскаленной каменной лѣстницѣ между раскаленными стѣнами. Но это были тѣ самыя ступени, по которымъ шествовали въ Акрополь панаѳинейскія праздничныя *теоріи*.

И когда двери закрылись, мнѣ показалось, что все мое прошлое, все прошлое человѣчества, всѣ двадцать болѣзненныхъ, мятущихся и скорбныхъ вѣковъ, остались тамъ, позади, за священной оградой, и ничто уже не возмутитъ царящей здѣсь гармоніи и вѣчнаго покоя. Наконецъ-то настало въ жизни то, для чего стоило жить! И странно: какъ во всѣхъ очень важныхъ, единственныхъ обстоятельствахъ жизни, мнѣ казалось, что я все это уже гдѣ-то и когда-то, очень давно, видѣлъ и пережилъ, только не въ книгахъ. Я смотрѣлъ и вспоминалъ. Все было роднымъ и знакомымъ. Я чувствовалъ, что такъ и должно быть и не можетъ быть иначе,—и въ этомъ была радость.

Я всходилъ по ступенямъ Пропилей, и ко мнѣ приближался чистый, дѣвственный, многоколонный на пыльной поблѣднѣвшей лазури полуденнаго неба, несказанно-прекрасный—Парѳенонъ...

Я вошелъ, сѣлъ на ступени портика подъ тѣнью колонны. Голубое небо, голубое море и бѣлый мраморъ, и солнце, и клекоть хищныхъ птицъ въ полдневной высотѣ, и шелестъ сухого колючаго терновника. И что-то строгое и сурово-божественное въ запустѣніи, но ничего печальнаго, ни слѣда того унынія, чувства смерти, которое овладѣваетъ въ кирпичныхъ подземельяхъ палатинскаго дворца Нерона, въ развалинахъ Колизея. Тамъ—мертвое величіе низвергнутой власти. Здѣсь—живая, вѣчная красота. Только здѣсь, первый разъ въ жизни, я понялъ что такое—*красота*. Я ни о чемъ не думалъ, ничего не желалъ, я не плакалъ, не радовался—я былъ спокоенъ.

Вольный вѣтеръ съ моря обвѣвалъ мое лицо и дышалъ свѣжестью.

И не было времени: мнѣ казалось, что это мгновеніе было вѣчно и будетъ вѣчно.